

Абстрактное дикое: Проповедь

Тигры в ярости мудрее, чем обученные кони.

Вильям Блейк

У гор бывает много настроений. Даже под ясными летними небесами я требую, чтобы мои клиенты упаковывали с собой теплые вещи, чтобы подготовиться к худшему. Я проводник альпинистов и, подобно всем проводникам, я скептически настроен в отношении горной погоды. Мы соблюдаем местную поговорку. Только дураки и новички предсказывают погоду в Тетонах. Если у кого-то нет подходящей одежды — шапки или пары теплых штанов, я отправляю их в Орвиллз, соседний магазин армейского обмундирования, который продает дешевую шерстяную одежду. Один раз, однако, я отправил клиента за штанами, и он вернулся без них, хотя он не раскрыл этого до более позднего времени, когда восхождение довольно давно началось. Поскольку он был плохо подготовлен для нашего путешествия, я был раздражен и сказал об этом. Он ответил, что единственные штаны, которые имелись в Орвиллз, были старыми немецкими армейскими штанами, он не хотел бы носить немецкой армейской одежды.

Мой клиент был евреем. Он не дал ни дополнительных объяснений, ни перечня причин, а также не выразил ненависти. Его решение было внутренним, таким же личным, как соприкосновение ткани и кожи. Его действия демонстрировали своего рода кодекс: если справедливость была невозможна, то надо почтить утрату актами воспоминаний, актами, которые мало что значили в мире, но которые, если их поддерживать, могли бы иметь значение для самого себя, могли бы поддержать частичку самосознания. Отказаться прощать, лелеять свой гнев, напоминать другим. Этот кодекс был старомодным, даже библейским.

Я понимал своего клиента. Его убеждение противостоит моей тенденции терпеть все, принимать, забывать, прощать, мириться с жизнью, быть реалистичным, переживать наши собственные утраты. Мы принимаем жизнь с ядерным оружием, токсичными отходами, разлитой нефтью, насилием, убийством, голодом, смогом, расизмом, самоубийствами подростков, пытками, горами мусора, геноцидом, плотинами, мертвыми озерами и ежедневной утратой видов. Большую часть времени мы даже не думаем об этом.

Я также питаю отвращение к этой терпимости ко всему этому. Отказ моего клиента происходит от Холокоста. Мой начался с запруживания Глен Каньона реки Колорадо и ее притоков, особенно реки Эскаланте, и в частности ущелья Дэвиса, которое я посещал дважды в 1963 году, непосредственно перед тем, как оно было затоплено водами озера Пауэлл. Посетители сейчас живут в плавучих домах и катаются на водных лыжах в сотнях

футов над теми местами, где я впервые получил опыт дикой природы. Я разбил там свое сердце и я по-прежнему зол по этому поводу. Я зол из-за того, что Уоллес Стегнер и Эдвард Эбби будут кататься на лодке вокруг озера Пауэлла как гости университетов и правительства США. Я зол на своих друзей, которые занимаются подводным плаванием и катанием на каяках в его водах. Я считаю для себя обязательным злиться по этому поводу.

Некоторые найдут непристойным ставить рядом гибель шести миллионов человек и утрату одной экосистемы. Я не игнорирую разницу в масштабе, но я отказываюсь признать разницу в причинах. В выпуске «Хай Кантри Ньюз» за 11 сентября 1989 года имеются картины одиннадцати отрубленных голов пумы, сложенных в пирамиду. Вы можете видеть детали их лиц. Это индивидуумы. Ассоциация с лагерями смерти оказывается невольной. Это только одиннадцать из 250000 диких хищников, убитых правительством США в 1987 году. Никто не высказал своего протеста в Отделение по контролю за вредом, причиняемым животным при Департаменте Сельского Хозяйства США. Эти смерти, Холокост, уничтожение дождевого леса и смерть двух миллионов камбоджийцев имеют общий источник, источник, который заслуживает нашего внимательного изучения и гнева, но который мы не вполне постигли. Я думаю о нем как о тенденции в направлении однородности — ненависти к Другому — такой общей в современные времена, что ее уровни отличаются по категориям и масштабам.

Сейчас часто говорят (еще с тех пор, как Уэнделл Берри высказал это так ясно и энергично), что наш экологический кризис представляет собой кризис характера, а не политический или социальный кризис. Сказать это означает оставаться в нерешительности, потому что остается неясным, что именно представляет собой кризис современного характера, и поскольку характер является отчасти определенным культурой, то что именно представляет собой кризис современной культуры. Этот вопрос является важным для того, кто любит природный мир, но ответ не будет найден в произведениях Торо или Мюира, или экологов — глубинных или нет.

Хотя экологический кризис кажется новым (потому что он относится сейчас к «новостям»), он не является новым, новые только масштаб и форма. Мы теряли дикое мало по малу на протяжении десяти тысяч лет и прощали каждую утрату, а затем забывали. Теперь мы столкнулись с окончательной утратой. Хотя ни один другой кризис в человеческой истории не может с этим сравниться, наш комментарий является странно приглушенным и печальным, как будто катастрофа, которая происходила с нами, не была вызвана нами. Даже наиболее информированные и просвещенные продолжают есть пищу, пропитанную гербицидами, пестицидами и гормонами, носить пластиковую одежду (наш любимый полиэстер), покупать японские товары, несмотря на их ежегодное убийство дельфинов — все это время продолжая болтать на своем абстрактном языке об экологическом кризисе. Это отрицание, а за отрицанием стоит ярость, наиболее обычная эмоция моего поколения, но она подавляется, и мы остаемся безмолвными перед лицом зла, в самом деле большинство из нас больше не верят в зло.

Почему эта ярость является безмолвной, бессильным протестом, который не простирается за пределы ограничений нашего частного мира? Почему люди не высказываются, почему они не предпринимают чего-нибудь? Храбрость и сопротивление, проявленные племенем навахо на горе Биг Маунтейн, польскими рабочими, черными в Южной Африке и заметнее

всего китайскими студентами на площади Тянаньмынь заставляют большую часть протестов связанных с окружающей средой в Америке казаться поверхностными и неэффективными в сравнении с ними. За исключением нескольких членов организаций «Земля прежде всего!», «Морской пастух» и «Гринпис» мы являемся нацией экологических трусов. Почему? Потому что эффективный протест основан на гневе, а мы не являемся (сознательно) гневными. Гнев питает надежду и поддерживает восстание, он предполагает суждение, предполагает то, что вещи должны быть такими, какими они не являются, предполагает заботу. Эмоция остается наилучшим свидетельством веры в ценность. К сожалению, существует мало связи между нашими эмоциями и диким.

Мы боимся своего гнева, потому что это могло бы привести нас к тому, чтобы сделать что-нибудь незаконное, что таким образом поставило бы под угрозу нашу свободу. Этот страх является оправданным. Любая эффективная форма сопротивления общественному органу власти могла бы по необходимости стать уголовным преступлением; вспомним недавнюю историю шипования деревьев гвоздями. В определенном смысле насилие представляет собой проверку на священность, вопрос в том, что будет защищаться, а что нет, когда дойдет до крайности.

Исторически эффективное неповиновение встречалось насилием. В Америке, Индия, в 1919 году британцы хладнокровно убили 379 ненасильственных демонстрантов. В 1930 году они убили еще 70 в Пешаваре. Ненасильственные демонстранты, которые успешно противостояли немецким попыткам преподавать нацистскую идеологию в норвежских школах, были отправлены в концентрационные лагеря.

В настоящее время большинство из нас не испытывает утраты дикого так, как мы испытываем зубную боль. Вот в чем проблема. «Нормальная» дикая природа — дикая природа, которую знает большинство людей, представляет собой шарату областей, зон и планов менеджмента, который отправляет реальную дикую природу в забвение. Мы отрицаем это, принимая видимость вместо того, чтобы требовать реального. Это также является реальным, современная культура все больше становится культурой видимости и подобия.

Эффективные протесты основаны на альтернативном видении. К сожалению, у нас нет ясного видения альтернативы нашим современным бедствиям. Глубинная экология на сегодняшний момент не предлагает ясного видения. Наш основной источник Сешнз и «Глубинная экология» Деваля представляет собой смесь списков, принципов, деклараций, цитат, отрывки любой постижимой традиции и лакомые кусочки из китча Нового Века. Авторы не говорят ясно, что они имеют в виду, они не приводят энергичных аргументов в пользу того, во что они верят, они не создают ничего нового. Представленные как революционные трактаты, нацеленные на то, чтобы ниспровергнуть западную цивилизацию, эти произведения по глубинной экологии должны смутить нас своей интеллектуальной робостью. Сравним их с другими революционными работами — «Левиафан, социальный контракт», «Коммунистический манифест» — или с критическими мыслями недавних европейских мыслителей таких как Майкл Фулкот, Юрген Хабермас или Энтони Гидденс и мы получим некоторое представление о глубине существующей у нас путаницы. Глубинная экология является подозрительной. Ей не хватает страсти, которая является действительно

важной, принимая во внимание текущее состояние дел. Следует прочитать тезисы Маркса о Фейербахе, особенно одиннадцатый: «Философы только интерпретировали мир различными способами, смысл, однако, состоит в том, чтобы изменить его». Можем ли мы изменить его? Настолько ли сильно нас это заботит?

Апатия, благодушие, послушание и трусость не являются новыми для Америки. Социальные причины нашей апатии многочисленны: религиозные традиции, такие как христианство и буддизм, которые прославляют терпение и осуждают эмоции (в особенности гнев) и суждение; либеральная идеология, которая превозносит релятивизм, плюрализм, терпимость и прагматизм во внутренних делах; инертность любой социальной структуры, клаустрофобный плюрализм за маской индивидуализма и близорукую и эгоистичную любовь к целесообразности.

Существует также две частные причины для апатии и безразличия. Как отметил Маркузе двадцать пять лет тому назад, интеллектуальный и эмоциональный отказ идти «вместе со всеми» выглядит невротичным и бессильным. Даже находясь в точке, которая считается высшей в западной цивилизации, мы высмеиваемся за критику общественной патологии. Критикуйте жадность богатых, и вы будете «завистливым». Придите в ярость от убийства 100000 дельфинов каждый год, и вы будете «инфантильным». Протестуйте против подавления ФБР диссидентских организаций, и у вас «есть проблемы с властями». Осуждайте государство за то, что оно подвергло граждан радиации в результате ядерных испытаний, и вы будете «непатриотичным».

Чтобы обратить эту ситуацию вспять, мы должны стать настолько близки с дикими животными, с растениями и местами, чтобы наш ответ на их разрушение шел изнутри. Как будто мы видим домовладелицу, душащую нашего кота.

Если что-либо и подвергается опасности в Америке, то это наш опыт дикой природы. Это знания, которые только дикое может нам дать, знания, специфические для его опыта. Это ее дары нам, дикая природа ничем не отличается от музыки, живописи, поэзии или любви: мы признаем изобилие и стараемся реагировать с благодарностью.

Проблема состоит в том, что мы больше не знаем, каковы эти дары. В своих усилиях выйти за пределы антропоцентрической защиты природы, подчеркнуть ее внутреннюю ценность и право существовать независимо от нас, мы забываем о взаимности между диким в природе и диким в нас самих, между знанием дикого и знанием себя, которая является центральным для всех примитивных культур. Поскольку значение дикого забыто, поскольку имеющий к нему отношение опыт утрачен, мы злоупотребляем этим словом, буквально употребляем его во зло. Дикость и жестокость группового изнасилования сейчас называется «одичанием» (англ. wilding), а в убежищах «Нового Времени» люди искали «дикого человека внутри себя», сидя в грязи и стуча в барабан.

Почему мы ассоциируем дикарское, жестокое с диким? Дикарство природы бледнеет и исчезает по сравнению с дикарством человеческого действия. Самые цивилизованные нации на планете убили от шестидесяти до семидесяти миллионов граждан друг друга на временном отрезке в тридцать лет с начала Первой Мировой войны до конца Второй

Мировой войны. Данте, Шекспир, Гете, Кант, Руссо, Деген, Милл, Бетховен, Моцарт, Мане, Башо, Ван Гог и Хокусай ничего не изменили. Господство закона, прав человека, демократии, суверинитет наций, либерального образования, научного метода и присутствия Императора-Бога ничего не изменили. Протестанство, католицизм, греческое и русское православие, буддизм, синтоизм и ислам ничего не изменили. Как мы можем в теперешний момент истории думать о гризли или о волке как о дикаре? Зачем смеяться над идеей о благородном дикаре, когда мы не открыли ни одного дикаря более дикого, чем цивилизованный человек?

Самый легкий способ получить немного из опыта того, на что было похоже дикое, состоит в том, чтобы отправиться ночью в одиночку в большой лес. Это подобно определенным техникам медитаций, особенно «шикантаза», практика дзен секты Сото. Неслучайно, что лама Говинда верил, что медитация возникает среди охотничьих культур на подножьях Гималаев; неслучайно, что племена Балти и Голок обращаются с домашней утварью, подобно мастерам чайной церемонии. Когда находишься в одиночестве в природном мире, время становится более плотным, обоняние и звук и осязание заново утверждают себя. Мир является остро чувственным. В подлинной дикой природе мы испытываем это большую часть времени даже при ясном дневном свете. Бдительные, внимательные, буквально «полные внимания». Не из-за принципов, но из-за чего-то очень старого.

Большинство американцев не знает опыта дикого. Мы окружены национальными парками, областями дикой природы, заказниками для диких животных, святынями и убежищами. Мы наводнены коммерческими образами дикости: книжным чтением, календарями, открытками, постерами, футболками и картами местности. Существуют фильмы о природе, подробная библиография книг о природе утомила бы компьютер и сотни журналов о природе с любой сферой интересов, которую можем себе представить: журнал о природе для юппи, географические журналы, философские журналы, научные журналы, экологические журналы, политические журналы.

Из этого мы делаем вывод, что знания и опыт дикой природы современным человеком являются обширными. Но это не так. Скорее то, что у нас есть — это широкий опыт очень сокращенного списка животных или мест в дикой природе — карикатура на прежних самих себя. Или мы расширили непрямой опыт дикой природы, опосредованной через фотографические образы и письменное слово. Но это не опыт дикого, не широкий контакт.

Национальные парки были созданы туризмом и для туризма, и они подчеркивают то, что интересует туриста — живописное и необычное. Они управляются с вниманием к двум целям: развлечению и сохранению ресурсной базы для развлечений. Большинство посетителей редко выходят из своих автомобилей, кроме как для того чтобы поесть, поспать или сходить в сортир. В национальном парке Гранд Тетон 93 процента посетителей никогда не посещали глубинки. Если посетители все-таки делают другие остановки, то это происходит в отведенных живописных «пейзажах» или образовательных экспозициях, представляющих любопытные факты — названия пиков, немного истории, или гораздо реже для пассивной рекреации, поездки в лодке или организованному путешествию по природе.

Ничто из этого не является случайным. Это результат тщательно продуманных планов менеджмента, которые направляют поток туристов в соответствии с максимальной полезностью — полезностью, определяемой целями развлечения, эффективности и сохранения ресурсов.

Проблема не в том, что люди делают в парках, но в том, что их не поощряют или не дают делать. Никого, например, не поощряют восходить на горы, совершать походы пешком или в каноэ. Тех, кто ходит в походы, не поощряют ходить вне троп, особенно в непатрулируемых областях с трудным спасением. Нам часто запрещают посещать отдельные области, где мы могли бы встретить медведей. Наши движения всегда подвержены тому, что Фуколт называет «нормализующим поведением». Имеется дорожная полиция, полиция для альпинистов, речная полиция и полиция для глухих районов. Они носят ружья и жезлы, носят пуленепробиваемые жилеты и накладывают штрафы. Незаконно бродить по национальным паркам без разрешения, определяющего, куда вы идете и где вы останавливаетесь, и насколько долго вы останавливаетесь. Любым постижимым образом национальные парки отделяют нас от свободы, которую обещает дикое.

Это не дикое, не дикая природа. И все же мы продолжаем понимать это как область дикой природы и называть свое время, проведенное там, опытом дикой природы. Мы верим, что вступаем в контакт с диким, но это иллюзия. Как в национальных парках, так и в областях дикой природы мы принимаем сокращенную категорию опыта, подобие дикой природы, подделку. И никто не жалуется.

Мы посещаем зоопарк или «Морской мир», чтобы увидеть диких животных, но они приручены, сделаны зависимыми, покорными. Мы ничего не узнаем о сути их жизни в природе. Мы не видим, как они охотятся или добывают пищу. Мы не видим, как они спариваются. Мы не видим, как они взаимодействуют с другими видами. Мы не видим, как они взаимодействуют со своей средой обитания. Их количества и их движения определены человеческим замыслом. Мы видим их контролируемые. Мы видим их дрессированными. В большинстве случаев они такие же покорные, апатичные и скучающие, как и люди, наблюдающие за ними. Если мы посещаем диких животных в святилищах, то мы защищены автобусами и наблюдательными вышками. Мы отделены от какого либо непосредственного опыта диких животных, которых мы прибыли посетить.

Даже наши эмоции относительно дикого являются опосредствованными. Большинство людей, которые испытывают возмущение относительно добычи китов, никогда не видели кита в море. Большинство людей, которые хотят реинтродуцировать волков в Йеллоустоуне, никогда не видели волка в диком состоянии, и некоторые без сомнения, никогда не видели Йеллоустоуна. Мы испытываем мучения в отношении забитых дубинкой детенышей тюленей и размолотых дельфинов, ни разу не прикоснувшись ни к одному из них, не почувствовав его запаха и не понаблюдав за тем, как он плавает. В какой степени бы эти эмоции не поддерживали бы популярные экологические дела, они не сохраняют дикую природу, потому что опыт объектов эмоций обычно получается через кинофильмы, телевидение, печатное слово или фотографии. Они представляют собой эмоции аудитории, эмоции грустного развлечения и они пройдут также быстро, как и наши чувства в отношении вечерних новостей или нашего любимого фильма.

Эти места красивы, люди чудесны. Я продолжаю ездить туда и буду делать это всегда, даже вполне хорошо зная, что я представляю собой часть проблемы. Там остались уголки дикой природы и немного диких людей, но в целом дикая природа и люди дикой породы исчезли. Диких вещей нельзя достичь в путешествии. Мы увековечиваем идею, что дикость находится где-то снаружи, мы утешаем себя ничтожными имитациями, мы ищем вновь уверенности в развлечении на природе и спорте на открытом воздухе. Но это почти исчезло. Если мы не сможем радикально преобразовать современные цивилизации, то дикая природа и ее люди будут всего лишь воспоминанием в умах немногих людей. Когда они умрут, она умрет вместе с ними, и дикое станет полностью абстрактным.

Что же плохого во всем этом удовольствии и развлечении, в этой имитации того, что когда-то было подлинным и мощным Другим? Ничего, если оно признается тем, чем оно есть — плохой заменой. Но мы не замечаем, что дикое отсутствует, и неясно, как мы могли бы заново установить контакт с дикими существами. Вероятно лучше всего сейчас начать с того, к чему мы эмоционально ближе всего — с животных. Растения могут идти позже, а места последними. Несмотря на всю экологическую болтовню о противоположном, в настоящее время у нас нет ключа относительно того, что могло бы значить вступление в общение с растением или местом, как это делали туземные американцы. К сожалению, условия, при которых мы могли бы вступить в отношения с дикими животными, также сокращаются.

Эта история ежедневно повторяется в средствах массовой информации. Природная среда обитания эродирована или утрачивается, виды страдают, оказываются под угрозой или исчезают. Предпринимаются усилия чтобы спасти ее, исследовать ее и вызвать общественную заинтересованность к ее судьбе. Это всегда звучит таким неизбежным, как будто утрата среды обитания является неисправимой, вопросом судьбы. Редко упоминаются человеческие действия, допущения о том, что мы ответственны за утрату среды обитания дикой природы, возможность того, что мы могли поступить по другому — что мы могли бы обратить вспять ужасающую ситуацию, что у нас есть на это силы — понимание того, что абстрактный язык управления дикой природой помогает и содействует постоянному разрушению дикой среды обитания и признание того, что зоопарк, цирк, «Морской Мир», национальный парк — это бизнес.

Читая эту литературу утраты, мы никогда не откроем, почему касатка Шаму должна была прыгнуть через десять тысяч обручей, чтобы помочь заработать миллионы долларов для мегакорпорации, почему она должна была оставить свою собственную дикую природу ради того, чтобы горсточка людей могла зарабатывать деньги.

Подобно пыткам, дрессировка диких животных демонстрирует современный комплекс истины и силы. Настоящая касатка! Она повинуетса самым тривиальным желаниям! Прыгай, Шаму, прыгай! Сила и истина встречаются в теле живого и мучающегося чувствующего существа. Как и в пытке требуется благодарная аудитория, чтобы легитимизировать процесс; какую цель преследовала бы поимка и дрессировка животных, если представление не развлекало бы аудиторию.

Зоопарки становятся все больше и более природными. Святотилища диких животных и национальные парки являются островами, слишком маленькими и все более искусственными. Йеллоустоунский национальный парк в действительности представляет собой мега-зоопарк. Сейчас все подвергается управлению и эксплуатации, это только вопрос степени. Примите это. Это нормально. Мы делаем это для благополучия животных и их дома.

Когда мы занимаемся такими абстракциями, мы стираем границы между реальным и подделкой, диким и прирученным, независимым и зависимым, оригиналом и копией, здоровым и ухудшившимся. Стирание притупляет остроту утраты и удаляет нас от нашей ответственности. Дикая природа не утрачена; мы собрали ее, вы можете видеть ее везде, где хотите.

С помощью нашей бесконечной изобретательности эта подделка заменила природное. В конце концов она в действительности не очень отличается от оригинала. Как отметил Умберто Эко в «Путешествиях в гиперреальность»: «Идеология этой Америки хочет заново установить уверенность через имитацию». И эта идеология преуспела. Мы снова обрели уверенность. Мы не в гневе, даже не расстроены, хотя эта абстракция маскирует ужас. Каждая карикатура требует оригинала — зоопарк это место, которое очень отличается от дикого дома. Зоопарк, «Морской Мир» являются (в лучшем случае) поддельной средой обитания, представляющей публике псевдо-диких животных ради развлечения и финансового вознаграждения. Дикое — это оригинал, дикое — это их дом. Чем больше и натуралистичнее мега-зоопарк, тем лучше маска, которая скрывает его реальность как тюрьмы для диких животных. Либеральные чувства просто требуют больших и лучших клеток.

То, почему мы должны или не должны принимать существование зоопарков — это предмет, к которому нельзя обратиться с помощью абстракций науки о диких животных, научного менеджмента или эффективного администрирования, потому что он ставит под вопрос их легитимность. Откуда и от кого идет право одевать радиоворотник на американского лося, прикручивать болтами пластиковые диски к клювам уток и помещать белых медведей в зоопарки для жизни такой скучной, что их приходится лечить от депрессии и давать небьющиеся пластиковые игрушки?

Ответ на этот вопрос тот же для животных, что и для людей: государство. Государство лицензирует зоопарки. Государству принадлежат все дикие животные. Кто дал ему такую власть? Разве мы когда-либо голосовали за это?

Абстракция вытесняет эмоцию, ограничивая нас рациональным отношением к диким животным — оправдание научного знания, коммерции и филантропии. Это оставляет нас без объяснения наших эмоциональных отношений к животным. Это не может объяснить того, почему я превращаюсь в безумца в зоопарке Мисоре, Индия, при виде толпы, забрасывающей камнями американскую пуму, запертую в клетке на маленькой деревянной платформе. Это животное страдало из-за очень неабстрактной причины. Оно, вероятно, было продано иностранному предприятию для развлечения и прибыли, и человеческие существа плохо обращались с ней. Здесь нет ничего необычного — все нормально.

Ее страдания были вопиющими, решение простым: ей было необходимо отправиться домой. Бежать по обрывам сквозь заросли и красться, и прыгать, и танцующим шагом двигаться на кончиках лап с хвостом, закрученным высоко в воздух, чтобы соблазнить самца, и затем охотиться вместе с ним в лунном свете, и есть оленей и коров, и овец, и делать маленьких пум, и умереть от старости на теплом песчанике у прозрачного ручья в конце ущелья, плотно заросшего хлопковым деревом и бузиной.

Кондорам также необходимо отправиться домой. Также как и касаткам. То, что у них больше нет дома, это не их проблема. Это наша проблема: мы это сделали. Решение состоит в том, чтобы дать им дом. Почему это так трудно понять и выполнить? Часть ответа состоит в следующем: у нас более нет дома, кроме как в грубом коммерческом смысле: дом — это место, куда приходят счета. Чтобы серьезно помочь бездомным людям и животным, потребуется чувство дома, которое не является коммерческим. Эскимосы, сиу — все принадлежат своему месту. Где наша среда обитания? К чему я принадлежу?

Все места принудительной маргинализации — гетто, трущобные поселки, тюрьмы, сумасшедшие дома, концентрационные лагеря имеют нечто общее с зоопарками. Если мы прибавим индейские резервации, аквариумы и ботанические сады к этому списку, то возникнет модель: удаленные от своего дома живые существа становятся маргинальными, а то, что становится маргинальным, портится или разрушается. Основополагающую важность имеет комплексность животных, растений и места, которая создает уникальное сообщество. Это верно в отношении *Homo Sapiens*, как и в отношении всех других видов.

Мы знаем, что исторический переход от сообщества к обществу происходил путем уничтожения уникальных местных структур — религии, экономики, пищевых моделей, обычаев, владений, семей, традиций, и заменой их национальными или интернациональными структурами, что создало современного «индивидуума» и интегрировало его в общество. Современный человек потерял свой дом, в этом процессе со всем остальным произошло то же самое. Вот почему этика земли Ольдо Леопольда является такой пугающе радикальной; она делает этот процесс морально неправильным: «Вещь является правильной, когда она имеет тенденцию сохранять целостность, стабильность и красоту биотического общества. Она является неверной, когда имеет противоположную тенденцию». Применим этот принцип к людям, животным и растениям, и последние десять тысяч лет истории будут просто злом.

Вероятно, самой грустной частью этой истории является рациональный довод о том, что развлечение и рекреация на природе помогают окружающей среде. После того как одна касатка убила другую в «Морском Море», ветеринар, ответственный за китов, попытался обосновать их содержание в неволе, сказав, что дети часто «уходят со знаниями, которых у них не было раньше, и очарованием, которое не проходит... они становятся защитниками морской окружающей среды». Мы слышим тот же самый аргумент о национальных парках и областях дикой природы: они должны быть развлекающими и рекреационными, а то общественность не будет поддерживать вопросов окружающей среды. Короче говоря, благополучие диких существ, диких культур и дикой окружающей среды должно быть полезным для современных людей, должно вписываться в наши социальные и экономические программы, или их не будут поддерживать.

Этот аргумент не отличается от того, который привел офицер во Вьетнаме, который объяснил разрушение деревни, сказав: «Мы должны были разрушить ее для того, чтобы спасти ее». Первое «ее» здесь реальное — люди, растения, животные, дома — то, что было разрушено. Второе «ее» является абстрактным — политической категорией — не существующая теперь деревня была «спасена» от вьетконгонцев.

Какое именно «это» мы пытаемся спасти во всех национальных парках, областях дикой природы, святилищах и зоопарках? Что мы хотим найти, когда путешествуем за рубеж? Я предполагаю, что отчасти это нечто, связанное с нашим чувством дома. Если это даже отчасти верно, тогда мы потерпели ужасную неудачу. Потому что близость к подделке не спасет реального. Многие люди верят, что постоянный опыт карикатур и видимостей создает желание испытать подлинно дикое. Согласно моему опыту он породит желание дополнительных подделок.

Иллюзия контакта с диким, предлагаемая национальными парками, областями дикой природы и «Морскими Мирами» в действительности отвлекает нас от дикого. Знание, полученное в результате этого опыта, создает иллюзию близости, которая маскирует наше подлинное невежество и ведет к апатии перед лицом нашей подлинной утраты. Мы безразличны к природе, но мы не заботимся о природе.

Мы могли бы назвать эту неудачу «Ошибка Мюира». Он не видел достаточно ясно или вообще не видел, что его опыт природы — близкий, поэтический и мечтательный, никогда не сможет быть повторен путешествиями Сьерра Клуба и всеми другими копированиями со стороны бизнеса на природе. В 1895 году он сказал в Сьерра Клубе: «Немногие совсем глухи к проповедям сосен. Их проповеди в горах доходят до наших сердец, и если люди вообще могли бы отправиться в леса хотя бы однажды, чтобы услышать, как деревья разговаривают сами с собой, все трудности на пути сохранения леса исчезли бы».

Они отправились в леса, но не каждый слышал как говорят деревья. Мюир так и не смог понять, что выделение области дикой природы само по себе не будет укреплять близости с диким. Его Йосемитская долина больше похожа на Кони-Айленд, чем на область дикой природы. Он, возможно, не знал, что организация и коммерциализация чего-либо, включая дикую природу, разрушила бы чувственную, таинственную, подчеркнутую, поглощающую инденфикацию, которую он пытался спасти и выразить. Он не мог знать, что даже дикое в конце концов уступит потребительской культуре.

Мир Торо и Мюира — середина девятнадцатого столетия — был ярким от надежды и оптимизма. Несмотря на это они были в гневе от утраты дикого и выражали свой гнев с силой и решимостью. Наши времена темнее. Мы понимаем трудности, которые стоят перед охраной природы более подробно, чем это делали они. Их оптимизм кажется невозможным в конце нашего столетия. Что-то огромное и древнее исчезает и наша ярость должна отражать эту утрату.

Отказывайтесь прощать, лелейте свой гнев. напоминайте другим. У нас нет оправданий.